

Николай ПОЛОТНЯНКО

ШЕСТЬ ЛЕТ МНЕ...

Над заводским поселком сгустился синий сумрак, под жесткими подошвами похрустывали успевшие схватиться ледком лужицы, и низко над землей сияли крупные звезды.

Я зашел в барак, отпер обитую только дверь комнаты, где жил один после смерти матери, включил свет, разделся и лег на кровать. Увеличенный каким-то расхожим фотографом её портрет смотрел на меня со стены. Она умерла четыре месяца назад в начале зимы, и до сих пор я не мог привыкнуть к своему сиротству. Но человек никогда один не остается, и если у него нет настоящего и будущего, то всегда до последней минуты с ним его прошлое, и от него никуда ему не уйти.

И временами оно выплывает из памяти, волнуя сердце, и мне кажется, что я не из прошлого вышел, а из какого-то морока, похожего на весенний туман-снегост, густой и молозивый, дожевывающий остатки сугробов по укромным местам, где еще прячется зима. И позади меня туман, и впереди туман. И жизнь — это всего лишь короткая перебежка по солнечной поляне из одной непроходимой чащи в другую. И все-то есть на этой поляне: и свет, и тьма, и цветы, и задубелый репейник, и тропок на ней видимо-невидимо, а все же ты торопишься по своей единственной и на другую ни за что не перепрыгнешь.

И сейчас вот опять отчетливо вспыхнуло — лысые каменистые сопки, обдутые жесткими ветрами, поросшие мелкой полынью и махалками ковыля. Внизу в распадке между возвышенностями — шахта. Черный конус террикона. Кривые улочки, ползущие вверх по склонам, насыпные и саманные домишки, бараки.

Свой барак, первый в жизни, потом были и другие, я хорошо помню. Комната узкая, как траншея, грязное от угольной пыли окно, одна на двоих с матерью койка, печка. Все это потом повторялось не раз, только в других местах.

В бараке жил народ сборный. Вербованные, которых привезли в Сибирь из России, в лаптях, с быстрым цокающим говором, местные из разоренных деревень, демобилизованные фронтовики, всякая другая прибалтненная публика. На отшибе от поселка оцетинилась колючей проволокой лагерная зона, где сидели пленные немцы.

Я довольно равнодушен к деньгам, наверное, потому, что моим первым воспоминанием были деньги, мешки денег, завалы пахнувших типографской краской пачек денег в банковских упаковках. Мама работала кассиром, и в дни выдачи зарплаты задерживалась допоздна, пока не выдаст всю наличность. Я был с ней частенько, засыпал где-нибудь в углу кассы на мешках с деньгами.

По тем временам кассир был заметной фигурой. Маме выдали белый полушубок, валенки, она ездила в банк с двумя автоматчиками, в кошевке, а в оглоблях приплясывал призовой жеребец, шахтная знаменитость, упругий, как пружина, Зайчик.

Однажды конюх и шофер единственной на шахте полуторки поспорили, кто вперед добежит до станции, что была в десятки километрах, конь или грузовик. Так вот, Зайчик шутя обошел старую, разбитую на военных дорогах полуторку. После этого о жеребце стали ходить легенды, и можно себе представить мою радость, когда я впервые увидел маму в кошёвке между двух розовощеких парней с автоматами, а главное, Зайчика, который, чуть отвернув набок голову и приплясывая, шел мимо поселковых развалюх.

— Одевайся, Вася! — сказала мама. — Поедем со мной в город, надо сапоги тебе к весне купить.

Я обрадовался до немоты. Не далее, как вчера, я просился у нее прокатиться, а тут счастье такое свалилось нежданно-негаданно. Я быстро оделся и выбежал на улицу.

Конюх Артем сидел на облучке в шубе-борчатке и курил козью ножку. Солдаты, закинув за спины автоматы, разговаривали, загородив тропинку, с завербованными девушками.

Я подошел к Зайчику и почувствовал, как от того остро пахнет потом и свежим сеном. Жеребец нервно переминался с ноги на ногу, косил злым лиловым глазом, из ноздрей струились белесые завитки пара. Сбруя на Зайчике была добротной работы, надраенные медные кругляшки сияли от утреннего зимнего солнца, и казалось, жеребец был не в сбруе, а в панцире. От нервных движений Зайчика кожаные ремни скрипели, а под дугой, расписанной синими птицами, позванивал колокольчик-шаркунец.

Народу на улице было мало, и я жалел, что меня, гордо восседавшего на облучке

рядом с Артемом, почти никто не видит. Зайчик осторожно шел под гору, всхрапывая и оседая на круп. Остро светило солнце, и пахло угольным дымом из протопленных утром печей.

Поселок был невелик. За вентиляторной подстанцией, которая гудела всей утробой, засасывая в шахту свежий воздух, мы свернули в чахлый березнячок.

— А что, Васёк, не боишься, как ведмёть вдруг выскочит из-под пня? — толкнул меня в бок Артем и ощерился черным цинготным ртом.

— У нас же ружья, — ответил я и покосился через плечо назад.

Мама сидела посреди солдат, закрыв ноги тяжелой цвета бычьей крови попоной. Она слышала, что сказал Артем, начала рассказывать:

— Перед войной, летом тридцать девятого, поехала, как сейчас, за деньгами для леспромхоза. Еду по стлани, бревнышки подо мной постукивают. Задремала чуток, жарко было. Вдруг чую — встала моя Карюха. Гляжу, сбоку медведь к нам топаёт. Карюха повела ушами, как дернет. Я кувырком на дорогу, а лошадь и деньги, тысяч тридцать было, убежали от меня. Протерла глаза, а он метрах в тридцати от меня сидит на пеньке, как человек. Я от него, он за мной. Я останавлиюсь — он остановится. Так и играли, может, полдня. Потом он поднялся и пошел в лес. А через минут десять машина подошла наша, леспромхозовская. А Карюха отбежала с километр и на полянке пасется, и деньги целехоньки...

— Это он тебя, Евдокия, в жены хотел взять! — заржал Артем. — Медведи, они сластники, мед, малина, ну и это самое...

Низкий березнячок был мне знаком. Прошлым летом меня сюда заманили подростки и отняли новую тубетейку. И хитро так заманили. Я скучал о бабушке, мне сказали, что она живет за лесом. Так и попался. До сих пор было жалко тубетейки. Так первый раз в жизни меня обманули.

Город оказался тесным скопищем грязных домов, над которыми кружились, словно копоть, стаи крикливых ворон.

Сначала пошли насыпухи, кривобокие с рваными толевыми крышами, бараки, окруженные колючкой и вышками и без этого окружения, дырявые, с надолбами желтого льда сортиры, чахлые деревья на обочинах, потом впереди замигал светофор, стало гуще машин и людей. Зайчик нервно всхрапывал и скользил подковами по льду. Артем, сдерживая жеребца, покрепче накрутил вожжи на руки.

За светофором улица расширилась, из-за угла, позванивая, вынырнул трамвай. Вагоны были битком набиты людьми, они висели в дверях и даже сзади последнего вагона.

— Самый центр! — Артем махнул кнутовищем в сторону громадного белого здания, перед которым стоял высоченный чугунный человек в шинели до пят. Я посмотрел и увидел на торце белого дома портрет этого же человека, только нарисован он был не в шинели, а в кителе. Голова его занимала верхние два этажа, потом шло туловище, штаны с кроваво-красными лампасами и блестящие сапоги. Лицо у человека было спокойное и доброе. С отеческим вниманием он смотрел на центральную площадь, внимая каждому взгляду.

У здания госбанка было тесно от множества саней и автомашин. Кассиры со всей округи съехались за деньгами для шахтеров, рабочих и охранников. Автоматчики сразу углади среди других солдат своих земляков. Артем разговорился с конюхом из соседней шахты, а мама заняла очередь в кассу и повела меня на вещевого рынок.

...Безногий инвалид на деревянной коляске пел возле входа, подыгрывая на балалайке:

*В ноги бросилась старуха,
Я ее прикладом в ухо.
Старика прикончил сапогом,
Да! Да!..*

Несмотря на мороз, калека был в одном пиджаке, из-под которого выглядывала тельняшка и синие наколки. Рядом с ним лежала шапка, в которой поблескивала мелочь. Ему подавали, но мало и редко.

Вокруг торговали и покупали, перед моими глазами мелькали пальто, шапки, шарфы, рукавицы, телогрейки, отрезки материала, кружева, ковры, различные вышивки. В углу барахолки мычала и бляла выставленная на продажу скотина. Возле пивнушки толкались и матерились пьяные мужики, и к ним неторопливо двигался милиционер.

— Атас! Красноперый!

Мужики враз утомонились. Милиционер внимательно осмотрел очередь и выдернул из нее тощего мужика с зеленым лицом. Шапка свалилась с головы мужика и упала в снег. Пробегавший мимо пацан с размаха пнул ее в толпу. Мужик кинулся за ней, милиционер следом, а вокруг, радуясь бесплатной потехе, хохотал народ.

Обувной ряд был жидковат, всего два десятка продавцов. Торговали валенками, чиненными ботинками, латанными сапогами. Мама приценилась к одним сапогам, но продавец заломил несусветную цену. Поторговалась и отступилась. Ладно, сказала она мне, закажу тебе резиновые на шахте. Я обрадовался. Мне нравились сапоги-самоклейки, которые были в моде у шахтеров. Их делали из резиновых автокамер.

В продуктовом ряду она купила миску горячей картошки и соленый огурец. Поели с куском своего черного хлеба, притулясь к ларьку, и запили обед общественным кипятком из бака.

У покосившихся ворот безногий инвалид продолжал петь, потряхивая белой от инея головой.

У банка народу и саней стало поменьше. Артем лежал в кошовке на соломе, укрывшись попоной, и дремал. Солдаты курили и хмуро смотрели по сторонам. Старший из них глухо сказал:

— Надо до темноты вернуться на шахту. У нас инструкция...

— Сейчас, сейчас! — заторопилась мама. — Очередь, наверно, подошла.

Она ушла в банк. Через полчаса позвала солдат, и они вынесли из банка деньги. Три мешка да еще продуктовую сумку.

Артем протер покрасневшие от дремоты глаза, попрыгал, постукивая себя в обхват руками, чтобы согреться, и сел на облучок.

Из города выехали, когда уже свет начал меркнуть. Солнце проваливалось в огромную багряно-синюю тучу, затянувшую горизонт, снег и иней на деревьях стали голубыми. Отфыркиваясь, Зайчик ходко нес кошевку по жесткой дороге, полозья посвистывали, морозный воздух щипал ноздри, и я с интересом посматривал по сторонам, пытаюсь угадать, кто оставил следы на обочинах дороги.

— Иди сюда, — сказала мама, — а то замерзнешь...

Я перелез через облучок, закутался в попоны с головой и лег на солому между жестких с острыми углами мешков с деньгами. Суматошный день утомил меня. Мягкая езда убаюкивала, события дня проходили, как в кино, ярко и живо, это была сладкая дорожная дремота, которую познает только усталый, измотанный человек.

Мне грезился милиционер на толкучке, в жесткой оттопыренной по сторонам шинели, человек с зеленым лицом и стриженной наголо головой. Человек без шапки бежал от милиционера, но тот, бухая тяжелыми валенками с галошами, не отставал от беглеца и красной от мороза пятерней срывал с кобуры клапан. Черный пистолет взлетел в руке над толпой. «Трах!» — с хрустом сломался выстрел.

Кошовка ударилась во что-то мягкое, ее развернуло в сторону, и я полетел головой в сугроб.

Пуля попала Зайчику в голову, он сделал несколько судорожных прыжков и рухнул поперек дороги, перевернув сани.

Несколько минут над полем стояла тишина. Потом, громко вскрикнув, заматерился Артем:

— Ах, мать вашу! — и тише: — Ногу, кажись, сломал. Все живы, что ль?

Солдаты вжались в сугроб, выставив впереди себя автоматы.

— Лежать! — крикнул Артем, увидев, что мама хочет подняться. — Ты ползком к нему, Дуся, ползком...

Зарываясь в снег, она поползла ко мне. На ее движения из леска ударил выстрел. Пуля вспушила над головой сугроб и с визгом ударилась в дерево.

— Кто это? — спросила мама.

— Кто-кто! — прошипел Артем. — Дезертиры. Лежите тут, не высовывайтесь. Как-никак два автоматных ствола. А ну-ка, хлопцы, вжарьте по кустам у сломанного дерева.

Автоматы ударили раскатисто и гулко. В кустах от посыпавшегося с ветвей снега за клубилась белая пыль. В ответ никто не стрелял. Выждав минут десять, солдаты для верности еще раз обстреляли кусты и осторожно вышли на дорогу. Хромая, к ним подошел Артем, осмотрелся по сторонам и махнул рукой:

— Выходи!

Поддерживая друг друга, мы с матерью выбрались на дорогу. Она кинулась к саням. Слава Богу, деньги были на месте.

Артем, сняв шапку, стоял над мертвым Зайчиком. Жеребец лежал на боку, в его неподвижных глазах безжизненно отражался свет луны, и начавшая погуливать поземка шевелила хвост и гриву.

— Все, отъездили! — вздохнул Артем, надел шапку и, достав из кармана нож, начал снимать с жеребца сбрую.

— До утра от него одни кости останутся, — сказал автоматчик, бросая в сани хомут.

— Я на втором посту стоял, рядом с поселком, так отбою не было от одичавших собак.

— Эти твари пострашнее волков будут, — подтвердил другой солдат. — Огня не боятся, оружие чувствуют и прячутся.

— Во всем война виновата, — сказал Артем, связывая оглобли вожжой. — И люди одичали, и звери. Войны как три года нет, а дезертиры все по лесам шастают. Неделю назад магазин на станции обворовали. Да и то, куда им теперь податься? У них жизнь — как чемодан, куда ни кинься, везде крышка. Ну, запрягайтесь, что ли...

Кошовку с деньгами и сбруей волокли до шахтного поселка на себе. Я шел, уцепившись одной рукой за маму, а другой за сани. Усталость и пережитый страх лишили меня способности воспринимать окружающее. Пришел я в себя только на окраине поселка.

Возле конторы было много людей. Шахтеры ждали получку и не расходились. Деньги перенесли из саней в кассу, и мать начала выдавать зарплату, а я уснул на шубе в углу, рядом с батареей отопления.

Поговорили о нападении на кассира в поселке, да и забыли. Новое горе заслонило старое. Рухнули в шахте два горизонта. Целый месяц трупы из шахты доставали. На розвальнях, завернутых в мешковину, мертвых везли в поселок.

Я бегал смотреть к шахте, но близко к огромному сараю, где громыхала клеть главного ствола, не пускали. Вокруг стояло оцепление. Солдаты отталкивали зареванных баб, огромные овчарки рычали на толпу и рвались с поводка.

Оцепление размыкалось, когда нужно было кого-нибудь опознать или забрать домой мертвого «вольняшку», а зэков сразу везли на кладбище, где их кое-как закапывали мерзлой землей.

Пришла весна, тусклая в этих краях, сиротская, и на поселок с кладбища потянуло сладковатым запахом. Вода размывала зимние могилы и обнажила человеческие останки. Кто постарше и посмелее, ходили на них смотреть, но я не отходил от барака, слышал только, как с террикона, грохоча, проковылял мимо барака трактор с широким лобовым ножом, сгреб трупы в овраг и заровнял их тяжелой мокрой глиной.

С весенним теплом население барака оживило, люди стали чаще выходить на улицу, рассаживались на завалинках и скамейках. Бабы «искались»: вычёсывали друг у друга вшей, мужики играли в домино, а я в сапогах-самоклеях бродил по лужам, в которых плавало расплавленное солнце.

Весна и лето прошли безмятежно, и ни один из этих дней не оставил в памяти язвущей занозы. Но, как говорится, у Бога всего много.

...Еще не пали зазимки, как однажды мать, придя среди дня с работы, начала собирать вещи. Я смотрел, как она заталкивает в мешок простыни, наволочки, полотенца, платья и ничего не понимал. Завязав мешок, мать села и заплакала, прижав меня к себе.

— Я должна ехать, — сказала она. — Ты поживешь пока у дяди Артема. Потом я приеду. Вот устроюсь на новом месте и приеду за тобой.

Расставание с матерью меня не огорчило, я даже обрадовался, что буду жить у Артема и ходить с ним на конюшню.

Вечером, когда стемнело, мы подошли к низкому покосившемуся домику на краю поселка. Мать постучала в окно. Артем вышел в накинутах на плечи полушубке, взял мои вещи и спросил мать:

— Зайдешь?

— Некогда. С углевозом до города доберусь, а то опоздаю.

— Ну, давай! Ты не забывай нас, пиши.

Мать поцеловала меня и быстро пошла к шахте, где, отфыркиваясь, пятился к составу, груженному углем, паровоз. Мы с Артемом постояли, пока паровоз не свистнул и не потянул вагоны.

— Ну, вот, — сказал Артем, — проводили мать, пойдем теперь в избу.

Вера, жена конюха, приняла меня с жалостливой теплотой. Накормила и уложила спать на печи за ситцевой занавеской. Я долго не мог заснуть, прислушивался к завыванию ветра в печной трубе. Мне было жестко и неудобно. Чужой дом, чужие, хотя и знакомые, люди. Я не мог понять, почему попал сюда, почему уехала мать, почему не сказала, когда вернется.

На следующий день после обеда Артем взял меня с собой на конюшню. По узкому, петляющему, как горный ручей, проулку мы спустились к шахте. У столовой Артем остановился, купил себе кружку пива, а мне стакан морса. Напротив в конторе суетились люди. Через окна было видно, как в кабинет начальника шахты сносили кипы каких-то бумаг, и затянутый в ремни военный курил на крыльце длинную папи-

росу. К нему-то Артем меня и подвел.

— Вот сын кассиршин, — сказал он.

Военный щелчком пульта папиросу на середину дороги и сбежал по ступеням, скрипя кожей ремней и сапогами.

— Как тебя зовут? — спросил он, садясь передо мной на корточки.

— Вася...

Я с любопытством смотрел на военного, мне нравилась его суконная гимнастерка, а особенно револьвер в кожаной кобуре.

— Ничего он не знает, товарищ лейтенант, — сказал Артем, заворачивая козью ножку. — Она привела его ко мне, а куда девалась, зачем... — конюх выразительно пожал плечами.

— Помалкивай! — сердито сказал военный. — Иди за угол и подожди, — лейтенант сел на ступеньки и посадил меня на колени.

— Где ты сейчас живешь?

— У дяди Артема.

— Не обижает он тебя? А то мы его накажем!

— Не, он добрый. У него Зайчик был, тот, которого дезертиры застрелили. А сейчас мы на конюшню идем...

— Слушай, Вася, мать когда уехала?

— Вчера вечером. Мы с дядей Артемом стояли, пока углевоз не ушел. На нем и уехала...

— А куда поехала, не говорила?

— Не... Сказала, что приедет скоро, и все.

— Ну, ладно, — подумав, сказал лейтенант, — иди гуляй. А ты, конюх, ко мне!

О чем говорили Артем и военный, я не слышал, только видел, как конюх пожимал плечами, чесал затылок, бил себя в грудь, потом повернулся и пошел. Лицо его было мрачным.

— Пойдем! — сказал он. И, помолчав, добавил: — Может, отвяжутся...

— А что ему было нужно? — спросил я, забегаая вперед.

— Да так, ерунда, — сказал Артем и погладил меня по вихрастой голове.

В конюшне было сумрачно и тепло. Пахло свежим сеном, солнечные нити, пробиваясь сквозь нечестые оконца, трепетали на деревянных перегородках денников.

— Пойдем в конюховку, — сказал Артем, — сейчас нет лошадей, все на работе.

В конюховке топилась печка, на крюках висела сбруя, пахло кожей и дегтем. На столе лежали остро наточенные ножи, шила различных размеров, толстые нитки и узко нарезанные ремешки.

— Вот тут и будем работать, — сказал Артем, снимая хомут с гвоздя. — Сбруя, Василий, на лошади должна быть, как парадный костюм жениха. Ты что будешь делать?

— Я кнут хочу сделать.

— Так в чем же дело? — улыбнулся Артем. — Все перед тобой. Бери и делай.

Я выбрал в углу ровную палочку для кнутовища, взял со стола ремешок и сел на скамейку.

— Дядь Артем, — спросил я, — правда, что в шахте лошади работают?

— Почти не осталось, — ответил конюх, — только на четвертом участке. На электротягу шахту переводят.

— А эти лошади где спят?..

— Там и спят под землей. Они, брат, со временем, как поработают на добыче, умнее человека становятся. Конец смены — шабаш, хоть убей, не заставишь работать. Будущие обвалы чувят заранее, ржут, копытами бьют.

— И всю жизнь под землей?

— Под землей. Слепнут без света.

И Артем запел приятным баском:

— *А молодого коногона*

Везут с разбитой головой...

... Уже зимой приехала моя родная тетя Варя и забрала меня к себе. О матери она ничего не говорила, как я ее ни расспрашивал.

— Молчи! Потом узнаешь, — лепетала она и прижимала мое наслезенное лицо к жесткой вязаной кофте.

Мать вернулась в пятьдесят шестом году из лагеря с туберкулезом и справкой, что она ни в чем не виновата. Оставшуюся жизнь она не жила, а тлела. Болезнь загоняли внутрь, но она была неистребима. Мать не высказывала ни осуждения, ни обиды за свою искалеченную жизнь, только иногда во сне вдруг начинала рыдать, и я соскакивал с кровати и будил ее. Она вставала и начинала молиться. Под ее шепот я засыпал.

УМНИК

Правду люди говорят, что у бога всего много. Взять, к примеру, снежинки: сколько их с неба падает, тьма-тьмуцая, а ведь все друг от дружки отличаются своими узорами. Что в таком разе говорить про человеческую породу: и обличем люди разные, и норовом, особенно русский народ. Согласен, что наш человек не знает свободы, как англичанин, и никогда не знал, но право на личную дурь у него никто не отнимал и даже не покушался на это, ни Орда, ни французы и немцы, ни дорогой товарищ Сталин, ни прочие генсеки, а ныне президенты. Конечно, власть пыталась всякий раз подстричь людишек под одну гребёнку, да все без толку. Русскому человеку как об стенку горох что социализм, что буржуинство, у каждого наперёд всего стоит свой норов, своё понятие о жизни, иногда вполне глупое, даже дурацкое, но своё.

Вот и Андрюшка Козырев таким уродился, имел, как и всякий русак, свою особинку. С младых ночей в нём обнаружилась бездна простодушия, помноженная на упрямое сопротивление начальственному духу, в чём бы тот ни проявлялся. Правда, некому было загнуть вовремя Андрюшке салазки: отец куда-то сбежал, а мать по слабости характера не смогла внушить сыну, что родное начальство надо почитать, как своего ангела-хранителя. Без этого на Руси нельзя ступить и шагу, хоть родишь ты с золотой ложкой во рту, обязательно найдётся какой-нибудь чиновный прыщ, который уязвит строптивца до самых печёнок, покажет ему кузькину мать и небо с овчинку.

По младости лет, до поры до времени, Андрюшка не ведал про свою особинку, случая не было, чтобы она выказалась, да и не перед кем было выпендриваться. Жили они с матерью в насыпной избёнке на краю поселка, яслей и детсада поблизости не было, и до первого класса Андрюшка обретался возле дома в огороде промеж грядок или на задах, в лопухах и конопле, где с соседскими мальцами играл в обычные для того времени детские игры.

Тогда люди жили просто и бедно, время послевоенное, страна едва отдышалась от войны, разных там телевизоров и других электронных причудалов, искривляющих развитие детского ума, не было, всякий человек появлялся на свет с чистой, как вытертая классная доска, душой, на которую жизнь записывала свои корявые письма. И Андрюшке было записано: строить светлое будущее всего человечества — коммунизм, не помышляя ни о чём ином, поскольку всё иное — родимые пятна капитализма, а их нужно выводить, не гнаться за деньгами и личными шмутками-манатками. В светлом будущем будет всё общее и всего будет вдоволь.

Другой бы усомнился, но Андрюшка, простая душа, во всё это светлое будущее уверовал, что там обязательно будет править справедливость, все станут жить по правде и совести, и до того времени рукой подать, вот он, Андрюшка, повзрослеет, и всё сбудется.

А пока пришлось ему после девятого класса бросить школу и идти на завод. Видел, как тяжело матери приходится кормить-одевать его, орясину, получил паспорт и сразу в отдел кадров. Там ему работу нашли быстро, в формовочный цех, кирпичи сырые от прессы на электролафеты закатывать.

На «кирпичиках», так между собой люди кирпичный завод прозвали, в основном работал молодняк, что из деревень сбежал. Деревенским паспорта стали давать, а в городе не прописывают, вот они и пёрли на «кирпичики», здесь и общежитие, и зарплата была, а не трудовни, как в колхозе.

Отработал Андрюшка на формовке год, окончил вечернюю школу. И ничего лучшего не придумал, как послать его на уборку урожая, тогда это было обычным делом.

Поставили Андрюшку на копнитель, показали педаль, на которую следует нажимать, когда агрегат соломой наполнится, и строго указали, чтобы он ставил копны на одной линии одну за другой, тогда волокушей способнее их в скирду собирать. Проинструктировал Андрюшку бригадир и махнул рукой трактористу. Трактор выстрелил очередью дымка из выхлопа, задрезжал, завыл, наконец, тронулся с места и поволок за собой комбайн «Сталинец», огромную громышающую машину, мини завод на колесах по производству зерна. В копнитель полетела солома, а ещё больше земляной пыли с половой. Пока соломы было немного, Андрюшка расталкивал её по сторонам вилами, но она так пёрла из комбайна, что с ней не было сладу. Он нажал на педаль, но копнитель не опрокинулся. Андрюшка ещё раз нажал на педаль, опять бесполезно. Он замахал руками и заорал. По комбайну к нему прополз мальчишка, штурвальный.

— Прыгай в копнитель! — крикнул он. — Иначе не опростаешь!

Андрюшка, не раздумывая, бросился ногами вперед в копнитель, дверцы разомкнулись, и солома вместе с ним вывалилась на землю. Он лежал под копной, понемногу приходя в себя от испуга, в ноздри набилась сухая пыль, Андрюшка чихнул и

стал выбираться наружу.

— Ты что, стервец, натворил! — раздался над ним грозный, с булькающей хрипотцой голос.

Андрюшка встал на четвереньки, открыл глаза и увидел прямо перед собой хромовые начищенные сапоги. Поднял голову выше — перед ним в галифе и кителе «сталинке» стоял разъярённый начальник. Вокруг были ещё люди, и среди них председатель колхоза.

— Ты как копны ставишь, вредитель! Это — твой?

— Городской, — хрипло вякнул председатель.

И тут на Андрюшку накатила стух, он этак гордо распрямился и брякнул правду-матку:

— Что вы на меня орёте, товарищ? Я такой же советский человек, как и вы. И не кричите на меня!

Человек в кителе от удивления и неожиданности даже почернел, а затем затопал ногами и прохрипел Змеем Горынычем:

— Судить мерзавца!

Андрюшка пожал плечами, повернулся и пошёл прочь. В деревне возле дома, где он ночевал, его ждал предколхоза.

— Рви, парень, когти отсюда! Скоро следователь явится. Беги задками на большак и лови попутку.

— Кто это был?

— Первый секретарь райкома партии. Беги! Меня ты не видел.

Андрюшка не заставил себя упрашивать, подхватил свой чемоданчик и поспешил на большую дорогу. К вечеру он был дома.

— Ты что-то скоро, сынок? — сказала мать.

— Не хочу учиться, — ответил, пряча глаза, Андрюшка. — Пойду на стройку.

Зачислили Козырева плотником самого низшего разряда, дали в руки топор, и стал он приколачивать доски и горбыли к опалубкам, в которые затем заливали бетонный раствор для фундаментов. Работа была легче, чем на формовке, в одну смену, два выходных в неделю, и начал Андрюшка книжки почитать, но не как все нормальные люди про любовь или войну, а политические, за сочинения самого Владимира Ильича Ленина взялся. Но читал не всё подряд, а про коммунизм выискивал, что сказал вождь про это самое неизбежное счастье всех людей. Однако мало что отыскал, Ленин о коммунизме написал всё мельком да впопыхах, видно, торопился сначала революцию сделать, а потом уж поразмыслить, как народ осчастливить.

В заводской библиотеке он разговорился с соседом по посёлку Антоном, тот вместе с Андрюшкой на формовке вкалывал и учился заочно на экономиста.

— Корень всего в экономике, — сказал Антон. — А вся экономика в «Капитале» Карла Маркса. Знаешь такую книгу?

— Слышал, но не читал, — ответил Андрюшка.

— Вот возьми его и читай. Там всё есть.

Козырев взял первый том «Капитала», но через месяц пришёл к Антону.

— Ничего я не понял в «Капитале».

— И я не понял. Но это не беда. Сейчас в газетах про коммунизм каждый день пишут. Ты в курсе, что в Москве идёт съезд партии?

— Слышал по радио. А что?

— Вот тебе газета, — сказал Антон. — Здесь написано, что коммунизм у нас будет через двадцать лет.

— Да ну, вот здорово! — обрадовался Андрюшка. — Значит, мы с тобой ещё при коммунизме успеем пожить!

Доклад Хрущева был в тыщу крат понятнее «Капитала», и Козырев прочёл его залпом. Потом перечитал ещё два раза, благо, что выходные были, и в понедельник захватил его на работу.

Плотницкая работа на опалубках — дело не слишком хитрое, стучи топором, швыркой пилой, гвоздями большими работали, в губы не зажёшь, подхватывали их из ящика, поэтому плотники с утра и до вечера о чём-нибудь да говорили, в основном про политику. После смерти Сталина разговорчивое время настало, всякий человек вдруг заимел своё мнение, хотя черпал его из газет или телевизора. Андрюшка тоже встревал в разговоры и нёс всякую околесицу про светлое будущее. Мужики с ним работали битые, учёные — кто фронтом, кто лагерной зоной. Они не подсмеивались над парнем, когда тот им доказывал, какая удивительная гармония и благоденствие воцарятся среди людей при коммунизме, однако допытывались, где всё это Андрюшка вычитал. А тому и ответить было нечего. Так что газета с докладом попала к нему в руки как раз вовремя.

— Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! — объявил Козырев, разворачивая газету.

— Что, так прямо и написано? — спросил кто-то.

— Вот и написано, — сказал Андрюшка и показал отчеркнутые карандашом строчки. — В жизнь воплотится лозунг: «От каждого — по способности, каждому — по потребности».

Мужики не спорили, раз в газете написано, значит, это правда. Только бывший власовец буркнул:

— По нашим потребностям давно уже коммунизм, надо считать, на дворе.

Остальные не сомневались:

— Раз начальству надо, чтобы коммунизм был, так пусть и будет. Мы — за.

— Вот ещё в «Моральном кодексе строителя коммунизма» сказано: «человек человеку — друг, товарищ и брат».

Тут прораб появился, мужики за топоры схватились, за пилы, а Андрюшка стоял с развёрнутой газетой в руках.

— Политинформацию проводишь? — буркнул прораб.

— Да нет, — засмеялся Андрюшка. — Про коммунизм тут написано.

— Правильно делаешь, что газеты читаешь, глядишь, дураком не помрёшь, — сказал прораб. — А сейчас, мужики, собирайтесь, берите инструмент и садитесь в автобус. И ты, Козырев, не отставай, может, сегодня и увидишь, как люди при коммунизме жить будут.

Сели всей бригадой в автобус и поехали. Долго ехали, город проехали, поле, лес впереди замаячил. Возле него и остановились, вышел Андрюшка из автобуса, глядит, а вдоль края леса дома новые из сосновых срубов стоят, где в два, а где в целых три этажа. К одному из таких домов, похожему на сказочный терем, и подвёл прораб плотников.

— Нужно, мужики, забор вокруг поставить, — сказал прораб. — Учтите, работа ответственная.

— Что это, шабашка? — спросил Андрюшка. — Платить за работу кто будет, Пушкин?

— Молчи, парень, и посапывай в две дырочки. Не твоего ума дело.

Из терема хозяин колобком выкатился, рожа — щеки сзади видно.

— Вы мне забор сделайте, чтобы ни одной щёлки не было, плотно доски подгоняйте, как в бочке!

Проскочил мимо плотников, сел в легковушку и укатил, только пыль столбом за ним поднялась.

Через неделю вокруг дачи стоял забор из фугованных досок, плотники вернулись на опалубки. Подошёл день полочки, и оказалось, что их надули, заплатили меньше, чем обычно. Бригадир пошёл разбираться в контору, вернулся и махнул рукой.

— Оказывается, нам ту неделю, что мы забор делали, закрыли по тарифу. А это меньше, чем сдельно.

Мужики недовольно зашумели, кто сплюнул, кто выматерился, а бывший власовец ткнул в Андрюшку пальцем:

— Ты собираешься двадцать лет коммунизм ждать, а тот хряк, кому забор ставили, давно при коммунизме живёт!

Возмутился Андрюшка и давай подбивать мужиков на сопротивление начальству:

— Рабочие должны бороться за свои права. Надо объявить забастовку, выдвинуть требования, написать в газету!

Мужики сочувственно слушали Андрюшку, бригада в этот день так и не приступила к работе, а утром к началу смены на стройплощадку примчался управляющий трестом. Он бурей налетел на Андрюшку, обложил матом, затопал ногами, только огнём из своего хайла не опалил.

— Растопчу! Размажу! Шкуру сдеру! — вопил управляющий — Вон из моего управления! С волчьим билетом!

Плотники разбежались кто куда, а Андрюшка, хотя и вспотел от страха, но не дрогнул.

— Это не ваше стройуправление, — сказал он. — Собственность на средства производства при социализме общенародная, и вы такой же работник, как и я.

Управляющий трестом умолк, пристально вглядываясь в стоящего перед ним парня.

— Умник, — осклабился он. — Точно — умник. Он часом у вас не больной?

Прораб пожал плечами:

— Я его предупредил.

— Вот что, — решил начальник. — Гони его в шею, по статье! Остальных лишить прогрессивки! Я вам сделаю козью морду, забастовщики!

— Неудобный из тебя человек растёт, Козырев, — сказал, проведив начальника, старый прораб, битый во всех передрягах строитель, неоднократно побывавший под следствием и судом.

— Это почему? — заершился Андрюшка.

— Много болтаешь, а по сторонам не оглядываешься. Для такого, как ты, главный враг — собственный язык. И начальство их не любит, и жены бросают.

— Я правду говорю. Должна быть одна справедливость для всех.

— Помалкивай в тряпочку, оно лучше будет. А теперь ступай к кадровику, может, без

статье тебя уволят.

Кадровик, отставной лагерный опер, был уже в курсе дела.

— Распустили вас, сволочей, — проворчал он. — Нет на вас, уродов, Лаврентия Павловича! Десять лет назад за твои делишки тебе бы срок впаяли, а сейчас закон другой. У тебя приписное свидетельство, скоро призовут, поэтому уволить не имеем права.

Андрюшке объявили строгий выговор и оставили в бригаде. Но мужики начали его сторониться, чуть он заговорит, все от него врассыпную. Козырев душу отводил в разговорах с Антоном. Тот его слушал и книжки давал почитать, всякую философию и политэкономия. От них у Андрюшки большая каша в мозгах заваривалась. Но тут догнала его повестка из военкомата...

МАНЕВКА

За окном старого прохудившегося барака свистел и вылосенный ветер. Облысевший клен качался, скрипел и скреб веткой по стеклу. Низкое, кочковатое, как болото, небо было высвечено октябрьским рассветом, но внизу, среди бараков и буйных зарослей полыни, еще царил полутьма, лишь кое-где в окнах приземистых и длинных строений загорались огни, и в печных трубах начинал завиваться белесый горьковатый дым. Бродячие псы лениво поднимали головы и мутными глазами смотрели на первых прохожих, в сараюшках заполошно вскрикивали петухи и повизгивали свиньи.

Сквозь зыбкую полудрему Маневка слышала эти звуки, но глаза не открывала и не шевелилась. Хотя на уличной стене ее комнаты поблескивал иней, ей было тепло. На Маневке и возле нее лежали двенадцать разномастных котов и кошек. С ними она и спала, прогоняя только в жаркие, летние ночи, и когда к ней с ночевой приходил Гришка.

Из-за кошек у Маневки с соседями постоянная война. Кошки гадили в коридоре, орали, когда на них находил любовный стих, и Маневка устроила, в конце концов, для них лаз через окно. Летом кошки беспрепятственно ходили через выбитую четвертушку окна, в холодное время Маневка затыкала дыру старой стёганкой, и блудливые коты, запозднившись, стучали лапами по стеклу и просились на ночлег.

Восемь лет жила Маневка в поселке, и откуда она появилась, каким сквозняком жизни занесло ее сюда, никто не знает, да и не интересуется. Все восемь лет Маневку окружают кошки. Они находили ее сами, эти беспризорные и бездомные существа, выброшенные хозяевами на улицу, черные как уголь, рыжие как пламя, пестрые как звездная ночь. Имен своим питомцам Маневка не давала, и каждого из них называет: «Эй, ты!» И удивительно, что на это обращение отзывалась именно та кошка, на которую в это мгновение указывала хозяйка.

Под теплым кошачьим одеялом Маневке тепло даже в зимние ночи. В комнате так холодно, что дыхание обжигает глотку, а кошки навалятся на нее и греют. Правда, запах в комнате острый, уксусный, на полу разбросаны клочки шерсти, потолок задымлен до черноты, дверь болтается на одной петле. Печку Маневка топила раз в неделю, варила ведерную кастрюлю борща или супа на говяжьих костях и вместе с кошками хлебала, когда чувствовала голод.

Будильника у Маневки нет. Но по шуму и стукотне в бараке она знала, что время сейчас где-то полвосьмого, нужно вставать, но вставать не хотелось.

— Маневка! Вставай! — заорала под дверьми соседка. — Тебя коты не задушили там?

— Встаю, Фрося, встаю, — лениво ответила Маневка и повернулась на бок. Кошки недовольно зауркали. — Вам что, — сказала Маневка, — можно дрыхнуть, а мне на работу, ну-ка, давайте расползайтесь!

Открыв глаза, она вспомнила, что вчера приходил Гришка, выцыганил последнюю пятерку, а до получки целая неделя. В кошельке осталось два рубля мелочью, да пустые бутылки в углу под рукойником. Все ничего, и денег не жалко, но не пришел Гришка, хотя и обещал, загулял с кем-то. До полуночи не спала Маневка, все ждала, слушала, как за тонкой стенкой из сухой штукатурки у соседей работал телевизор, концерт передавали. Коты всю избодали, зовя спать, а она все ждала. Но Гришка не пришел.

— Ну, пошли, окаянники! — сказала Маневка.

Первым поднялся рыжий кот, сдвинул все четыре лапы в одну точку, выгнулся, зевнул и, вытянув передние лапы, оперся на стену, где в черной деревянной рамке висели фотокарточки родных и «Благодарственное письмо», которое выдали Маневке в прошлом годный День строителя.

Встав с кровати, она подошла к рукойнику, плеснула в лицо пригоршню холодной воды, утерлась, натянула на себя обляпанный глиной комбинезон и забила тяжелые

опухшие ноги в кирзовые сапоги. Уже одетая, присела к плите и стала хлебать прямо из кастрюли позавчерашний суп. Рыжий кот запрыгнул на печку, подошел к кастрюле и опасно посмотрел на хозяйку.

— Что, жрать захотели? — сказала Маневка и, зачерпнув большой литровой кружкой, вылила хлёбово в небольшой тазик, который был кошачьей кормушкой. Толкая друг друга, кошки расположились вокруг и принялись наперегонки осушать посудину.

— Мань! Идем, что ли! — позвала Фроська.

— Иду, сейчас...

Маневка придавила крышку кастрюли утюгом, чтобы кошки не сожрали остатки супа, выдернула из окна затычку и вышла в коридор. Запирать двери она не стала, просто накинула щеколду и вставила в петлю деревянную палочку.

На улице глянула на соседку и присвистнула.

— Что, опять хохотальник набок?.. Я чтой-то ничего не слышала.

— Это? — Фроська пощупала под глазом синяк. — Совсем сдурел. Вроде пока еще не заслужила, а он премирует...

Фроська была моложе мужа на пятнадцать лет и любила веселые компании. Муж ее ревновал и поколачивал иногда за дело, а иногда и впрок, считая, что битьем бабу не испортишь.

— Тебе хорошо, ты — свободная женщина, — сказала Фроська. — Это я в кабале у черта старого.

— Какая свободная, — вздохнула Маневка. — У тебя — свое, у меня — свое. Все толчемся с утра до ночи, конца и края не видно.

Возле дороги, ведущей к заводу из города, бараки расступились, и на открытом всем ветрам поле показались строящиеся пятиэтажные дома.

— Слушай, Маневка! Если тебе квартиру вырешат, ты куда кошек денешь? Вчера вон и предцехкома говорил, мол, не дадим Маневке Селезневой квартиру, если кошек в дом потащит. Пусть сперва свой зоопарк ликвидирует...

— Ну его подальше! — ответила задетая за живое Маневка. — Ему-то квартиру вперед всех дали. Лучше бы за собой смотрел, а то найду на него управу! Вчера вокруг печки глину на горбу таскала, тачка сломалась, а сварщика нет. А он грит, не засчитаю, один ходок обвалился. А я как замажу? Вода холодная, глина черт знает где...

— Да ну его, Маневка, — беззаботно сказала Фроська. — Ты еще не знаешь, что вчера наши бабы — Сметаниха, Корпачиха и Любка Косая над Сашкой Воробьем учудили...

— А чо?..

— Скинулись бабы, купили водки, принесли бражки, выпили — скучно. Вышли из барака, сели на завалинку, глядят — Сашка идет. Они тары-растабары, попросили принести гармошку. Пошла пьянка-гулянка. Очумели совсем, сама знаешь — у Корпачихи бражка с табаком, в голову бьет. Тут кто-то из баб и говорит Сашке, мол, че те пятьдесят лет, а ты без бабы, ни разу не женат. Слово за слово, решили бабы посмотреть, че у него в штанах, а то болтают на поселке, что у него там пустое место. Свалили Воробья, связали, стащили штаны, выкрасили все хозяйство суриком и вытолкнули мужичонку на улицу. А у него, представляешь, все наголе, народ в хохот. Участковый забрал его, куда-то увез...

Фроська захохотала.

— Бесстыдницы, — сказала Маневка. — Как же можно позорить человека.

— Человека, анчутка его заberi! — насмешливо и зло произнесла Фроська. — Скажешь, и Гришка твой — человек? Присосался, как клоп, к бабе, а ты и уши развесила. Попадет к Корпачихе на чумную бражку, они ему еще почище устроят.

Разговаривая, женщины не заметили, как зашли на территорию кирпичного завода. Маневка хотела сказать Фроське, чтобы та не совала нос не в свое дело, но только махнула рукой и пошла к своей обжигательной печи, возле которой стоял, нацеливаясь, как журавль, на поддоны с кирпичами, одноногий кран, и бульдозер отгребал с погрузочной площадки щебенку и сваленные в ошметки груды кирпича.

Маневка схлестнулась с Гришкой случайно, на дне рождения у Фроськи, еще два года назад. Она запоздала к началу гулянки, и когда вошла, прижимая к груди сверток с подарком, все места вокруг стола были заняты. Фроська по-соседски не обратила внимания на Маневку, только кивнула головой, один Гришка поднялся и уступил ей свою табуретку, а сам устроился рядом, на краешке дивана. Гришка был без жены, в красной рубахе и с гармошкой. Что говорить, умел он зажечь народ, пальцы так и летали по планкам, глаза сияли масляным блеском. Гришка заворачивающе поглядывал на Маневку и прижимал горячее бедро к ее ноге.

Беспамятно разгулялась Маневка, пела, плясала, только стукоток стоял и на плечах подпрыгивали бусы. Забыла скукоту своей одинокой жизни, обычно неподвижные, как замерзшие тараканы, коричневые маленкие глазки метали на гармониста

зазывные искры, и Гришка подхватился с дивана, пошел с гармошкой в руках вокруг нее, да вприсядку. Славный был вечер, счастливый краешек жизни вспыхнул в тот день перед Маневкой и поманил за собой туда, куда она давно зареклась ходить.

Поселок — что худое сито: на следующий день все сороки-пересудчицы растрезвонили, что Гришка у Маневки ночевал. Вечером Гришкина сударка-Клавка заявила с ребятней своей сопливой — разбираться. Маневка только пришла с работы, замочила в корыте комбинезон, в тазу женские постирушки. Вдруг — дверь настезь, Клавка с порога орет:

— Он меня, гад, вчера специально спойл, чтоб одному на гулянку удрать, к тебе под бок подвалиться!

Кошки от крика брызнули в разные стороны, но Маневка не испугалась, вытерла руки и подала Клавке табуретку, а пацанам сунула конфет.

— Не плачь, Клава, — сказала она. — Чему быть — тому не миновать. Любит меня Гриша, и я его. Уж тут ничего не попишешь...

— Это как любит? — задыхнулась от злости Клавка. — Да совесть у тебя есть? Я же его, обормота, на ноги после лагеря подняла, костюм купила, штиблеты, он этому, — она ткнула пальцем в черноголового ползуна, — отец родной! Кто мне все вернет?..

Маневка помялась, подошла к комоду.

— Сколько мы тебе с Гришей должны? — спросила она.

— Да он вчера последний червонец упер, — воскликнула Клавка, зорко глядя на Маневку. — Детям жрать нечего, он на базе что ни получит — все проплет, нитки стырит, продаст — и опять ни копейки не вижу.

— Вот тебе двадцать пять рублей, — Маневка подала Клавке деньги. — И никаких других делов.

— Может, накинешь десяточку? — сказала Клавка, выхватывая деньги из руки Маневки. — Вон эта орда, ведь ни копейки алиментов на всех троих не получаю.

— Что за шум, а драки нет? — раздался веселый Гришкин голос. — Мне Сметаниха говорит, что ты Маневку бить пошла. Правда, что ли?.. — Гришка был на крепком взводе, на ногах стоял прочно. — А это что? — он заметил в руке у Клавки деньги и ловко, одним движением, выхватил их. — Гляди-ко — четвертак!..

— Маневка дала, — сказала Клавка.

— Не тебе дала, а мне, — Гришка протянул Клавке десятку. — Дуй в магазин и без пузыря не возвращайся, — остальные деньги Гришка сунул в свой карман. — Ты зачем ей деньги даешь? — строго спросил он, когда Клавка выскочила за дверь.

— Так чтобы от тебя отвязалась...

— Я что, малой? Сам не знаю, куда идти? А ну, брысь, мошकारа, — он вытолкал ребятню за дверь и накинул крючок.

— Неудобно как-то, — задыхаясь, зашептала Маневка, — божий день ведь...

— Ерунда! — Гришка теснил Маневку к кровати. Свободной рукой он шибанул рыжего кота, который лежал на подушке. — Брысь!

— Ты чё дересся! — Маневка вывернулась и подхватила кота на руки. — Не смей кошек забижать!..

— Фу ты, черт! — Гришка сел на кровать и захохотал. — Ну, прямо цирк у тебя, Маневка!

— Пускай! Тебе-то что. Посмотри, Гриша, какой он умный.

— Да ну его, — Гришка щелкнул рыжего кота по уху. — Задушат они тебя как-нибудь...

Маневка положила кота на подушку и подсела к Гришке.

— Скоро ко мне перейдешь, а?

— А чё переходить-то? Я уже перешел. Все на мне. Пальто еще месяц назад пропил. Возьму гармошку — и тут! Так что переехал, Манева. Весь твой...

Клавка мигом обернулась. Принесла бутылку, веселая стала, песню запела про одинокую рябину. Маневка накормила пацанов.

Бутылка опустела. Гришка достал из кармана червонец, запустил Клавку по второму кругу в магазин. Пили, гуляли. Утром Манева проснулась, глядит — рядом Гришка, Клавка на полу с ребятами, коты — кто где: в головах на кровати, на полу, на печке.

И понеслась жизнь — неделя пролетела, деньги у Маневки кончились, и Гришка с Клавкой сплыли к себе домой. В аванс опять заявили, в получку — опять.

Маневка не пила почти с ними, они все лакали. Клавка никаких видов на Гришку; напьется — и на пол кверху воронкой, а Гришка на кровать, разгребет кошек — и к Маневке. Веселая жизнь, но и шоколад приедается. Хорошо хоть, от пьянки у Клавки живот заболел, уползла домой вместе с ребятней. А Гришка рядом.

— Может, уедем отсюда, Гриша, — говорила Маневка. — У меня в деревне дом, хороший еще, пятистенки. Пойдем в совхоз работать.

— Да я насквозь городской, Маневочка! — смеялся Гришка. — А в совхозе и быка от коровы не отличи. Опять же, работа пыльная.

— Жили бы своим домом, — гнула свое Маневка.

— Вот еще! — вскидывался Гришка и хватался за гармошку. «Под горной» да ласками отворачивал в сторону неприятный для себя разговор.

А Маневке все нейдет, особенно когда она одна, без денег, в холодной комнате, со своим кошачьим хозяйством. «Не любит он меня, ох, не любит», — думала она.

Не выдержала, пошла к бабке одной советоваться. Та взяла трояк, достала иглоку, пошептала на нее, поплевала в угол и сказала:

— Сунь незаметно к нему в одежду — и твой будет.

Но старушечья присушка не помогла. Гришка жил то у Клавки, то у Маневки, у кого были деньги, там и обретался.

«Гад, вот гад, и в каком только болоте вырос», — обиженно думала Маневка, но ничего не делала для того, чтобы расстаться со своим ветреным хахалем. Поселковские смеются, а ей хоть бы что. За Клавкиными пацанами ходила, обновки им покупала. Так и летело время, катилось день за днем, мелькая то светлым, то темным боком.

Ходки достались трудные, на повороте печи. Тачка валялась, как и вчера, с отломанной ручкой, и Маневка ведрами натаскала в корыто глины, воды, сделала замес и начала закладывать проходы, в которые загружались в печь сырые кирпичи и выгружались обожженные.

Ходок был покосившийся, с обваленным сводом. Пока забила все дыры, замазала глиной, чуть руки не отпали. Пошла к сменному мастеру. Он сидел в красном уголке, щелкая облупленными костяшками счетов, что-то записывал.

— Чего тебе? — буркнул мастер, не поднимая головы. Он был с утра зол, как бобик. Садчики и выставщики кирпича — условники и принудбольные ЛТП — заваливали план, а это било по всем и, в первую очередь, по его карману прямой наводкой. Мастер подсчитывал расход мыла, рукавиц, чуней, газоды — сальдо было тоже неутешительным, опять же не в его пользу. — Ну, чего маешься? Говори, — повторил мастер и откинулся на скрипучем стуле.

— Так тачка, Сергей Герасимович, сломанная, — потупясь, сказала Маневка. — Ручка отлетела еще вчера...

— Я сказал сварщику. Сегодня будет, — проворчал мастер и снова защелкал костяшками.

Маневка молчала. Шла она сюда — зло кипело, думала, выскажет все напрямую, а открыла дверь, будто пар из нее выпустили, присмирела, поникла. Тем более — мастер работал, считал. Начальству Маневка никогда не перечила, уважала его, особенно тех, кто в форме — милиционеров, военных.

— Говорят, квартиры будут скоро вырешивать, — заговорила Маневка.

— Будут. Как решат, так и скажут, — отозвался мастер. — Там на тебя в профкоме заявление от соседей. Будто сразу в доме развела, котов облезлых собираешь...

— Так это не мои, — решила схитрить Маневка. — У меня один Рыжик. А с кем он путается, я не отвечаю. Он их сам, этих кошек, в комнату заманивает. Я ему говорила, а он не слушает...

Мастер недоуменно покачал головой.

— Ты не куролесь. Разве с котами разговоры ведут?..

— Он все понимает, только блудливый. Два года всего. Вот постареет, успокоится...

— Ну, не знаю, — махнул рукой мастер. — Не мешай! Профкомовские пусть разбираются...

Выйдя от мастера, Маневка зашла в раздевалку, достала из сумки в шкафчике старый ржавый сухарь, размочила в воде и съела. На выходе у сатуратора выпила кружку газоды, огляделась по сторонам.

Тихо в цехе. Только изредка взвизгивали электролафеты, подвозящие вагонетки с полками кирпича из сушильных камер, да с грохотом выкатывались из раскаленного нутра печи вагонетки с обожженным кирпичом.

Подошла к незаделанному ходку, послушала, как переругиваются с выгрузчиками зковские оторвы-садчицы, подхватила крючком корыто с остатками замеса и начала заставлять ходок кирпичами.

Перед обедом пришел слесарь. Протянул провод, прихватил сваркой ручку к тачке и ушел в свою слесарку. С тачкой стало полегче. Маневка мигом навозила глины, кирпичей к оставшимся ходкам, хотела их заделать без обеда, но садчицы, решившие поест, увлекли Маневку за собой в раздевалку.

— Идем, тетя Маша! Зойке посылка пришла, на всех хватит.

Садчицы — молодые девки по двадцать — работали на печи уже полгода, спецкомендатура была в поселке, там они и жили в бывшем общежитии, вокруг которого построили забор с колючей проволокой наверху по всему периметру. Девки,

несмотря на годы, были народом битым, повидавшим виды, нюхнувшим тюремного воздуха. Их освободили из лагеря с условием отработки оставшегося срока на заводе.

Маневку они звали тетей Машей, она была старше девчат на двадцать лет и смотрела на них, не понимая, что это за люди и откуда взялись. Тюрьма, через которую они прошли, казалась Маневке чем-то загадочным и страшным, вроде самой смерти, и она никак не могла представить, что в ней можно жить.

Сидели они по разным статьям. Зойка — карманница, Розка — растратчица, Любка — за кражу носильных вещей.

По пути к ним нацелились примазаться выгрузчики, но девки их отшили и зашли в женскую раздевалку. Постелили на скамейку доски, поверх — газету. Зойка достала поллитровку.

— Двадцать один год отмечаю, — сказала она, наливая в единственный стакан водку. — Девятнадцать в «Метрополе» отмечала — цветы, иностранцы, балдеж. А через две недели черт дернул — сняла у одного фраера бумажник со скулы¹, да очиститься не успела. Упал он на пол прямо в кабаке, ногами дрыгает, кричит: «Там партбилет!» А я документов никогда не беру, зачем они?..

Стакан прошелся по кругу, Маневка пить отказалась, сидела тихонечко, ела Зойкины московские гостинцы и слушала.

За дощатой перегородкой, в мужской раздевалке, переговаривались выгрузчики. Все ждали получку, и разговоры были о ней.

Внезапно в дверь кто-то затарабанил.

— Маневка! — раздался голос Клавки, переходящий в плач. — Маневка! Несчастье-то какое! Ох, несчастье!

Девчата быстро спрятали бутылку в шкафчик для одежды и сбросили с двери крючок. В раздевалку ввалилась зареванная Клавка. От нее на Маневку пахло запахом перегара и пота.

— Ах, Маневочка! — запричитала Клавка, опустившись на скамейку. — Нету нашего Гришеньки! Помер, вчерась нашли уже ночью в овраге. И что его туда унесло! Видать, чуял свою смертнюку!..

— Как помер? В каком овраге? — заикаясь, вскрикнула Маневка, до которой только-только начинал доходить смысл случившегося несчастья.

— Пошел еще к Корпачихе, уже вечером, за бражкой и не вернулся. Я думала, он у тебя, а во втором часу ночи прибегают, говорят, в овраге он. Общежитские с девками гуляли в посадках и наткнулись. В морге уже Гришенька!.. Что делать, как хоронить? Денег-то рупь семьдесят!..

Клавкины вскрики доходили до Маневки будто сквозь глухую ватную стену. Левую половину груди сжало, в глазах потемнело, она покачнулась, но ее подхватили девчата.

— Вот что, девки! — сказала Зойка, усаживая Маневку. — Надо людям помочь. У Маневки, наверно, тоже ни копыя.

Девчата покопались в своих сумках и собрали тридцать рублей.

— На! — Зойка сунула деньги в Маневкину ладонь. — Этой стерве не давай. Расходуй только на Гришку!

Садчицы ушли, а Маневка недоуменно смотрела на трешницы в своем кулаке.

— Гроб надо, оградку, место на кладбище, — заговорила Клавка. Она уже отплакалась и смотрела на деньги.

— Сам все сделаю, — сказала Маневка и засунула тридцатку в карман комбинезона.

Хоронили Гришку в морозный осенний день, когда всю землю выбелил иней. Народу было немного: два мужика с базы, где Гришка работал, свои барацкие — Фроська, ее муж, Сметаниха, Корпачиха. Маневка, зажмурив глаза, поцеловала покойника в ледяной лоб и отошла в сторону, к Фроськиным ребятишкам. Черногозый, в Гришкину породу, мальчик подошел к ней и уткнулся в юбку. Маневка взяла его на руки. Мальчонка доверчиво прижался к ней всем тельцем и обхватил шею руками. От этого прикосновения сердце у нее защемило, и она заплакала.

— Маневка, ты чего реवेशь? — спросил мальчик.

— Холодно, вот и плачу, — ответила она, слизывая слезы с губ.

— А я не мерзну. Ты мне теплое пальто купила. А к тебе пойдем конфеты есть?

— Пойдем, милый, пойдем, — торопливо сказала Маневка. — Чай будем пить с конфетами, и с котом разрешу поиграть...

Гришку помянули, и после второго стакана, когда баб потянуло на песни, Маневка с мальчиком пошли к ней домой. Они шли по темной улице между бараками, мальчик смотрел на небо и считал крупные, по-морозному яркие, звезды. Он не понимал, что произошло в этот день, и не знал, что его ждет, но ему нравилась теплая и шершавая рука женщины, которая шла рядом с ним.

¹ «Со скулы» — из внутреннего кармана.